

НИЖЕ ДОСТОИНСТВА

Валёк и Серёга – троечники. С грехом пополам закончили восемь классов. И вот слоняются по посёлку. Хорошо бы устроиться в кадры. Хоть на валку деревьев, хоть на сучки. Тут бы были у них и деньги. Жизнь покати́лась бы, эх, нормально. Однако работы в посёлке нет даже взрослым. Отцы у ребят работают лишь сезонно, уезжая за сто километров на вахту, где ещё сохранился остаточный лес и можно немного подзаработать.

Родители за своих сыновей тоже переживают. В прошлом году купили ребятам по новой рубашке, кроссовкам и джинсам. Спасибо отпускникам, забиравшим у мальчиков целое лето лесные деликатесы. Лучше всего покупали они землянику с морошкой. Собирались юнцы за ягодами и нынче. Да появилась идея – брать ягоды не по вырубкам и делянкам. А рядом с посёлком, через реку, где совхозное поле, на котором уже поспевают садовая земляника.

Лодку для этого дела устроил Серёга. Отца дома не было, уехал с бригадой валить дальний лес. Так что и спрашивать было не надо. Сели в долблёночку – и вперёд!

Было двенадцать ночи. Никто не видел, как подкрались они к совхозному берегу, на котором таилась сладкая земляника. Была она крупной, почти с куриное яйцо. Потому и брать её было легко.

Тихо вокруг. Никого. Сторожа нет. А если и есть, то сидит где-нибудь да, знай себе, посыпает.

Мальчики предовольны. С час просидели они на грядках. Корзины с верхом! Пора и назад.

Вышли к изгороди, вбегавшей пряслами прямо в воду, где они оставили лодку. И удивились. Лодка была – и сплыла. Кто-то сел в неё и уехал. А может, сама она отвязалась? Ягодники смутились.

– И чего теперь?

Валёк кивнул вдоль реки, где пестрели дощаники и долблёнки.

– Пойдём по лодкам. Может, какую и отопрём.

Нашли пару ржавых гвоздей, чтобы было чем открывать лодочные запоры. Лодок было штук десять. Все, как одна, на цепях с импортными замками, гвоздём которые не откроешь.

– Во, попались! – заныл Серёга.

Валёк посоветовал:

– Не скули.

Они оглядели совхозное побережье. Метрах в двухстах за низиной темнели маленькие избушки. Низину вёснами затопляет, и на ней не сеяли ничего. Лишь сенокосили, выбирая среди камышей съедобицу для животных. Два стожка уже возвышались около огородов.

– Надо идти в деревню, – сказал Серёга, – пусть нас, это, перевезут.

Валёк усмехнулся:

– Вместе с ворованной земляникой?

Подул ветерок, донеся от бараков через реку чей-то голос, кривящий кого-то крепкими матюгами.

Валёк прошёлся по суплесу. Пнул по выброшенной метле, отправляя её к воде. Тут и вторая метла.

Пнул и её.

Где-то вверху, над пристанью, поморгало. И сразу, слепо блеснув, показался серпик луны. Удивительно, но при слабом его свечении в деревушке ответило тем же самым, таким же призрачным полублеском, в котором ребята увидели крест.

– Часовня!

Тем и знакома была им часовня, что раз в неделю её навещал из города поп Василий. Приезжал он и на неделе, когда умирал в округе какой-нибудь старичок. И приходилось его отпевать. Иногда попадали в часовенку и ребята. Просто так. Или с кем-нибудь из знакомых. В последний раз были здесь они в мае, когда у Валька умер дед. Как-то странно было смотреть на бледного, в строгом костюме мужчину, лежавшего в ярком, с кистями гробу, чьё лицо было очень спокойным, а веки слегка приоткрыты. Отчего казалось, что дед подсматривает оттуда за всеми живыми и даже сочувствует им, кого он, как маленьких, обхитрил, оставив одних, без него в этом мире.

И ещё удивило мальчиков то, что было в часовне тесно. Не от людей, а от только что выделанных гробов, что были расставлены по углам и, казалось, ждали своих квартирантов, которые так и так не сегодня так завтра придут сюда.

– Прячем ягоды – и за мной! – Валёк не стал объяснять, какая идея пришла ему в голову. Оставив корзину около лодок, он тут же выбрался на тропинку и пошагал уверенно, как хозяин, который знает, что надо делать для того, чтоб попасть домой.

Проскрипев сапогами по мелкотравью, они вышли на косогор, за которым, чернея решётками окон, стояла бревенчатая часовня. Дверь её закрыта была на завёртыш. Открыли. Вошли. И, приглядевшись в потёмках, увидели, что в углах часовни гробы уже не стояли. Был лишь один, что темнел на столе.

Открывая крышку, больше всего опасались охолонуть глазами о мертвеца. Но в гробу не было никого. Покойник, видать, находился дома. Утром за гробом, поди, и придут.

– Повезло нам с тобой, – признался Валёк.

– Это как?

– Вынимать из гроба не надо.

– Кого?

– Никого.

Не давая Серёге прийти в себя, Валёк сурово постановил:

– Крышку здесь оставляем! А ящик с собой!

Гроб был из высушенных тесин, поэтому не тяжёлый. Однако нести пришлось в перевёрнутом виде, на головах, днищем вверх.

Выбрались из часовни. Перешагивая порог, кто-то из них запнулся, и гроб, задев косяк, пронзительно скрипнул.

Где-то в потёмках твякнула потревоженная собака. Следом за лаем брызнуло пятнышко света от фонаря.

Ребята заволновались. Хотели было швырнуть свою ношу. Да удержались. Так, согнувшись в четыре погибели, и двинулись тропкой к реке.

Кое-как дотасили. Сняли поклажу и поглядели, как она будет держаться в воде. Вроде нормально.

Подобрали оставленные корзины. Подобрали и метлы. Сами залезли и, оттолкнувшись, поплыли через реку.

Чем-то гроб походил на обычную лодку. Только плыл он ужасно тихо из-за того, что в руках у ребят не вёсла, а что-то среднее между шваброй и помелом. Мальчики сразу же и устали. Оба, как в наказании. Стоят на колёночках и гребут. Верней, не гребут, а хлопают, поднимая и опуская намокающую мотню, словно отганивают от гроба нечистую силу, плывущую вслед за ними, чтобы их настигнуть и утопить.

Поглядеть на них с берега – право, поверить, что это не мальчики, а искатели собственной жизни, кою они нечаянно потеряли и теперь, спохватившись, старательно ищут, исследуя темноту...

Первым, кто разглядел пассажиров в гробу, был сторож ягодников Калыгин, пожилой, крепко сбитый пенсионер в обветшалом комбинезоне. Вооружён централкой 16-го калибра, небрежно си-

девшей на грузной его спине. Это он угнал у ягодников долблёнку. Уплыл на ней к середине реки, где, прикрепившись к бакену, воришек и караулил. Намеревался обоих арестовать. Запереть до утра в часовню. А там – и директору передать.

Смутила Калыгина дерзкая расторопность, с какой любители ягод решили вернуться домой. Без всякой там лодки. Не поленились сходить в часовню, куда он сам собирался их увести. Да ребята опередили. На какие-то двадцать минут потерял их из виду. А они уже – из часовни. Топ-топ. Не с пустыми руками, а с домовищем. Гроб-от этот сам Калыгин и мастерил. Пару тыщ хотел за него получить от бабки Ульяны, чей супруг на девятый десяток перевалил и вот преставился в воскресенье. Сегодня среда. Сегодня и день похорон. Но как хоронить, коли гроб на воде? Переправляет воришек. Работа мастера вся насмарку. Калыгин во гневе. Мальчики-то чего? Переедут реку, абы сразу домой. А гроб? Там и бросят, где вылезут из него. Буксируй Калыгин назад. По воде. А потом по земле, чтоб обратно его в часовню. Сторож кипел: «Ну, гадючкины дети. Вас бы сейчас по подспиннику коромыслом...»

Калыгин плыл, с озлоблением наблюдая, как усердствовали ребята, продвигая гроб к той стороне.

О, если бы знали мальчики, кто их преследует, они бы, пожалуй, так сильно не напрягались. Видимость над рекой была слишком мутной. И гребец, возникший среди неё, мог им представиться кем угодно, но только не человеком. А ежели человеком, то только бывшим, одним из тех, кто возродился из мертвецов.

Лодка с Калыгиным шла за воришками неотступно и, кажется, настигала.

– Покойник! – вскрикнул Валёк.

– О-о! – вздурел и Серёга.

– Гроб-от ево! – добавил Валёк. – Сейчас, как хозяин, сюда и переберётся!

– А нам-то? Нам-то чего?

– Откудов я знаю. Пуще! Пуще греби!

Но грести тряпичными швабрами невозможно. Они впитали в себя по пуду воды, и поднимать их стало уже не под силу.

Бросили швабры. И вот в руках вместо них – матерчатые кепчонки. Но и они не годились. Их моментально выхватило водой.

Засуетились ребятки. Давай приседать то на левой ноге, то на правой, чтоб другой свободной ногой грести по воде. Гроб раскачивало, как в бурю. Неожиданно он раздвинулся, ощетинившись остренькими гвоздями. И дощечки его поехали, кто куда.

– Как же мы? – воскликнул Серёга, проваливаясь в реку.

Валёк горьким голосом:

– Плавать умеешь?

– Худо!

– И я не лучше! – признался Валёк, погружаясь вслед за Серёгой в немереную прохладу.

Двух минут не прошло, а на ложе реки – лишь две опрокинутые корзины, из которых катится в воду уже никому ненужная земляника.

Калыгин покрылся холодным потом. Ребятки-то, кажется, тонут. Что и делать? Спасать? Но как это делать, он не имел малейшего представления. Потому и вёслами зачистил, абы только прочь, прочь отсюда. На левый берег, где у него дом родимый, где старушка-жена, где охраняемая им совхозная земляника.

Ну, а здесь-то как быть? Здесь-то около бакена, на стремнине, где темно, глубоко и глухо и вода по-недоброму вьёт? Этого сторож не знает. Он в панике и расстройстве. И ничего, ничего не видит уже. Ни гроба, что рассыпался на дощечки. Ни мальчиков, что колотят ладошками по воде.

Металось в груди у Калыгина. Как если бы кто-то ловил его сердце, и оно, увёртываясь, летало, пытаясь найти спасительный уголок.

Но что это? Что? Лодка стала вдруг тяжёлой и непослушной, словно кто-то её топил. По телу Калыгина, задевая комбинезон, пробежало волнение. Калыгин увидел мальчиков на весу. Оба по шею в воде, руки же – наверху, как когтями вцепились в борта долблёнки.

Калыгин трудно выдохнул и поплыл, разворачивая долблёнку. В обратную сторону, к берегу, где темнели бараки посёлка. Плыл в растерянности и в думе. Получается, он этим мальчикам помогает, не отдаёт их реке, спасает.

Калыгин едва успокоился и последние метры, которые оставались до мелководья, где стояла грядка отцветающего рогоза, проплыл аккуратно. «Ещё один гроб, видно, делать. И очень срочно...» – подумал, взглянув на рогоз, сквозь который шли, выбираясь на берег, несостоявшиеся воришки, кого река пощадила, отобраз от них лишь кепки и сапоги.

Потянул свежачок, донося от бараков хлопанье крыльев, с каким садился куда-то наверх поселковый петух. Начинало светать.

Ребята медленно поднимались к набережной реки, оба сырущие и босые, в прилипших к спине рубашках. Выбравшись на мостки, повернулись лицом к долблёнке и громко, так, чтоб услышал Калыгин:

– Спасибо, дедо-о!..

«За что спасибо-то? – удивился старик и вдруг открыл для себя: – За жизнь! За то, что я не спасал их, но как-то по-дивному получилось, что жизнью своей они обязаны мне. Потому и лодку свою обратно не забирают. Бить бы надо меня, как стоногого дезертира. Я ведь бежать собирался от них. Глядел и не видел беспомощных рук, когда они ко мне потянулись. Такое вот коромысло. С занозинами, едрёна...»

Вздрыгнул сторож, услышав от ближних к реке бараков:

– Кукареку-у!..

Кричал глашатай пробуждавшегося пространства, утверждая всё то, что несёт в себе жизнь. Ну а то, что её умаляет, специально не замечает, считая это ниже его достоинства, не стоит даже и поворота его гордо вскинутой головы.

СУХАРИ ДЛЯ КРЫСЫ

Елизар Николаевич Татанов спокоен и тих. Сидит у окна, молча вглядываясь в красоты, в какие уходит сельская местность, оставляя под снегом отаву подворий, дороги, изгороди и грядки.

Татанову семьдесят лет. Живёт он двумя половинами года. В городе – до весны. В деревне – до первых морозов. С тех пор, как он вышел на пенсию, прошло десять лет. Жаловаться не на что Татанову. Всё идет у него как надо. Подобно ему живут многие горожане, у кого в деревне купленный дом. У Елизара дом по наследству. От матери. Отрадно ему оттого, что выкопана картошка, убрана свёкла, выдергана морковь. Всё это покоится в коридоре в семи мешках, укрытых брезентом и одеялом. Подспорье. Не тратиться зря ни ему с его постоянно хворающей Евдокией. Ни сыну с невесткой. Сын приедет за этим добром десятого ноября. Сегодня второе. Увезет и его. Чтоб опять он жил-поживал в своей городской квартирке. Он да жена его Евдокия, с которой он неразлучен вот уже сорок пять лет.

В коридоре скребнуло. Опять грызуны. В Лёпеньге сорок домов. Местных жителей нет, одни горожане, и зимой никто из них здесь не живёт. И хвостатая нечисть, чуя тепло, норовит туда, где ещё продолжается жизнь. Крысы да мыши. Нынче их особенно много. Татанов всю отраву на них истратил. Оставался лишь яд в порошке. Очень сильный, который достал ему сын. Чтоб хватило его до отъезда, порошок растворил в горячей воде, окропив мёртвой жидкостью сухари. Сухари же повесил повыше, в сенях, около двери, в холщовом мешке. И брал их оттуда по нескольку штук, каждый раз раскладывая возле мешков с овощами.

Разложил и сегодня. И снова к окну, как к приятелю, с которым мог просидеть дотемна.

Татанов обожал пространство, ощущая себя открывателем всех ландшафтных перемещений. Что он там видел? Мягкое белое колыханье, уходящее за деревню, где протекала, глотая снежинки, чуть пристывающая река. А дальше, за рослыми ольхами, по пологому скату водораздела поля, поля и поля.

Послышались в сенях шаги. Дверь открылась. Девушка на картине художника Васнецова, прямоугольные с маятником часы, отдушину на печи, висящая лампочка над столом глядели, словно обыскивая пришельца, как бы спрашивая его: кто такой? Откуда? Зачем явился? Старик же, сидевший на табуретке, взглянул на вошедшего безразлично, не собираясь его расспрашивать ни о чём.

– Александр! – представился тот с порога. Голос свежий и ясный, как с утреннего мороза. – Попал в передрыгу! За что? Да за то, что меня грабанули. Двое. Меня же и сдали ментам, как грабителя этих двоих. Пришлось убежать. Ничего. Я их всех там запомнил. Вернусь ещё к ним. Они у меня будут здесь! Как котят! – Нога Александра в мокром полуботинке колебнулась, вскидываясь носочком, словно он с неё сбрасывал этих котят.

Парень был килограммов под сто. Красивый, с волнистыми волосами, без головного убора, в кожаной куртке. Глаза весёлые, настезь, как раскрытые на весну блестящие окна. А на щеке – белая ниточка – шрам от ножа.

Татанов сразу понял, что парень бывалый, прошедший огонь и воду, однако с секретом, который нельзя раскрывать, и он не раскроет.

– Ну-ну, – сказал Татанов, – я же не видел, как ты убежал. Ни к чему это мне.

– Чудесно, отец! – Александр улыбался, сваливая с лица не только смеющиеся морщинки, но и неровную ниточку белого шрама. – У русского человека душа большая! Поймёт, не то что иностранец! «Иностранец-то тут при чём?» – не понял пенсионер, загибая рукой полукруг небольшого кухонного пространства:

– Давай проходи.

Парень, хотя и плёл небылицу, но нравился Татанову. Нравился прежде всего своим темпераментом, натиском бойкой жизни и неизвестностью. Кто он? Куда он? И почему оказался именно здесь, этакий взявшийся ниоткуда граф Монте-Кристо, незаслуженно пострадавший и теперь настроившийся на месть?

И пройти-то всего от порога к столу полтора десятка шагов. Но и эти шаги прошёл Александр так, как надо, ступая прочно, на всю подошву, отмечая себя в глазах хозяина чуть ли не праздничным человеком, кому не положено быть, как всем.

– Батя! Выпить бы мне! – попросил Александр. Но как попросил! Словно в просьбе его было то особое обаяние, какое склоняет любого, к кому обращаются с ним, на широкую русскую доброту.

Водки было у Татанова в обрез. Одна бутылка. Её он берёт. Неделю ещё предстояло ждать сына, и ежедневная рюмка вечером перед сном была для него как спасительное лекарство. И всё-таки он сходил к холодильнику. Вынул бутылку. Тут же – на стол. И закуску принёс. стакан же поставил один.

– А ты чего, батя, не будешь? – спросил Александр.

Татанов отказался, сославшись на нездоровье:

– Сердце. Нельзя. Давай уж ты сам. Без меня...

Александр было не хуже. Сидел, вбирая в себя уют стариковской избы, водку с закуской и робкое шевеление стрелок висевших над ним настенных часов.

Ночь подошла, как белая женщина, заслоняя окна от полумрака, в каком сидела деревня, мирно слушая шорох черёмуховых ветвей, в которых плавали еле видимые снежинки.

– Будем спать, – сказал Татанов, едва Александр покончил с едой и бутылкой.

Сам он забрался на печь. Александр – на кровать. Он уже засыпал, как вдруг услышал внизу страшный треск, словно в простенке около пола трещало рвавшееся бревно. Никогда Татанов не слышал, чтоб так храпели. Сколько энергии в этом храпе, сколько грохота, сколько силы! Словно в маленький дом ввалилась стихия.

Терпел Татанов. Ворочался на фуфайке, сквозь которую проступала твердь печных кирпичей. Храп продолжался почти до утра. Почти до утра не спал и хозяин. Лишь когда поутихло, закрыл глаза и забылся. Но ненадолго. Сквозь сон услышал шаги. Ходил Александр. Снял с печи валенки и ходил в них уютно и мягко, как кот. Слышно было, как открывались дверцы посудного шкафчика, холодильника и буфета, скрипели ящички кухонного стола. Засвистел электрический чайник.

Не понравилась Татанову самостоятельность гостя. Слез с приступков, обув на ноги вместо валеков старые тапки. Выбрался из-за печки. Глазам не верит своим. На столе рядом с чайником, пачкой чая и чашкой, откуда дымился заваренный чай, лежал разбросанный ворох квитанций, бумаг и многих других, печатью заверенных документов. Были среди них и деньги, последние триста рублей, с которыми Татанов собирался сходить за пять вёрст в магазин, чтоб пополнить свои продовольственные запасы. Именно эти три сотенные купюры и увидел хозяин в руке Александра.

– Ну-ко, положь на место! – сказал он ему.

Александр сунул деньги в карман. Пододвинул чашку с заваренным чаем. Стал отхлёбывать не спеша.

– Ухожу, отец! Неплохо бы на дорожку чего-нибудь и покрепче. Может, где заныкано у тебя?

По лицу Татанова полезли багровые пятна, взбираясь на лоб и лысую голову, в которой стало вдруг до неприличия дурно и горячо.

– Положь, говорят! – повторил он, взглядываясь в лицо Александра, с которого тут же и стёрлось весёлое выражение удачливого гуляки, с кого решили потребовать деньги. И это его возмутило. Он лихо встал, смахнув со стола полетевшие на пол квитанции и платёжки.

– Тебе они больше не пригодятся!

Татанов, удерживая свой гнев, повернулся не только грудью, но и душой к вероломному гостю, словно увидел в нём лиходея, кого предстояло остановить:

– Ты чего это, парень? С ума посходил? Ведь последнее забираешь!?

– Заткнись!

Покоробило Татанова. Он оскорблённо моргнул, вобрал в себя воздух и вдруг завёлся:

– Смелый какой! А ежли я милицию вызову? Прямо сейчас...

Не надо бы Татанову об этом. Лицо Александра покрылось злой багрецой.

Татанов опомниться не успел, как был повязан висевшей на спинке стула бечёвкой. По рукам и ногам. И лежал на кровати, брошенный так, что шея его заломилась.

Александр торопился. Схватил со стены хозяйский рюкзак, стал бросать туда всё, что могло пригодиться в дороге из того, что нашёл он в этой избе. Досадовало его, что старик был из бедных и, кроме двух банок тушёнки, двух пачек чая, пакета с сахаром, пачки масла, он не нашёл ничего.

Подошёл к Татанову:

– Хлеб? Где хлеб?

– У меня не хлеб, – ответил хозяин, – у меня сухари.

– Где они?

– Там, за дверью.

Александр пнул ногой в проскрипевшую дверь. Увидел мешок на стене. Снял и бросил его в рюкзак. Потом увидел на вешалке стёганую фуфайку. Натянул на себя. А сверху – рюкзак.

Татанов поднапрягся:

– Ты, видать, человека убил? – голос его сухой и скорбный, как шелест страниц книги актов о смерти.

Александр усмехнулся:

– Тебе-то не всё ли равно?

– А куда ты пойдёшь? – спросил Татанов.

– И этого, батя, знать тебе нынче не надо.

– Развяжи меня, – попросил Татанов.

Александр задумался на секунду. Что-то быстро решил. Но решил не в пользу хозяина дома. Пошарив в кармане фуфайки, достал оттуда спичечный коробок. Зажег пару спичек, пристроив их аккуратно на край кровати. Огонь пополз по байковому одеялу. Татанов встрепенулся.

– Это ка-ак? – вытаращил глаза.

– Так, старче. На всякий пожарный. Чтob ты меня в этой жизни не опознал.

Переступая порог, Александр обернулся:

– Скажи мне что-нибудь на прощанье?

Татанов бросил в дверь негодующий взгляд:

– Подохнешь и ты...

Шёл Александр и шёл вдоль берега по дороге. Уже за деревней, на вырубке, где стоял одинокий стожок, оглянулся. Увидел на фоне летящего снега дым и огонь.

– Был свидетель, и нет, – иронически улыбнулся. – Никто обо мне ничего не расскажет. Хорошо, когда есть на Руси пенсионного возраста обормоты. Слава богу, мне с ними не по пути. Мне ещё жить и жить. А им? Пожили, кажется. Хватит. Их у нас слишком много. Стране и так нелегко. Для чего ей балласт? От него надо срочно освобождаться. Как это сделал сегодня я. Хоть одним обормотом станет меньше...

Ступал Александр в мягких валенках по снежку. Ступал, не смея остановиться, ибо хотел унести свои ноги подальше от этой ненужной ему деревушки, где он оставил огонь, а в огне – никчёмного старикашку, каких на Руси слишком много и все они зацепились за жизнь, как липучий репей.

Вечером мог бы он завернуть в светившееся сквозь лес огнями маленькое селенье и там попроситься к кому-нибудь на ночлег. Но не стал заходить, страхуя себя от случайного невезенья. Потому

и разжѐг среди леса костѐр. Набил котелок свежим снегом. Растопил его на огне. Опустил туда пару щепоток индийского чаю. Налил в кружку и начал пить, хрустя трофейными сухарями.

И было бы в этот вечер ему сытно, угрѐвно и романтично, но сухари объявили войну, разрывая желудок с той силой, с какой могли умертвить бы они и крысу. Александр поднялся и побежал к маленькому селенью, откуда к нему сквозь деревья струились оконные огоньки. Но боль разрасталась и разрасталась. Была она нестерпимой. Александр споткнулся, с отчаяньем постигая, что мукам своим он обязан пенсионеру, потому и находится в этом чѐртовом перелеске, где только голые ольхи, снежный покров да какая-то белая птица на пне, разглядевшая то, как он, спотыкается, падает и встаѐт, боясь не успеть к спасительным огонѐчкам.

АМОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Ах, какая она была доверчиво-юная, пылко верившая ему как какому-нибудь кумиру, кто всегда её и поддержит, и защитит. В то же время была у Наташи и собственная гордыня. И ещё уверенность в том, что он её на другую не променяет. Уверенность эта была у неё во всѐм. Прежде всего в её неусидчивой быстрой фигурке, чистом, всегда улыбающемся лице, смелой походке и, конечно, в прекрасных глазах, смотревших на жизнь как на праздник, главную роль в котором сыграет она. Платье было на ней ручного шитья, с кружевами на рукавах, казеиновым поясом и подолом, игриво плясавшим, когда она шла, и эта пляска Андрея смущала, ибо он видел её божественные колени и хотелось ему целовать их и целовать.

И ведь что? Воспаляющая мечта оказалась осуществимой. Торопливые поцелуи. Шѐпот. Сбивчивое дыхание.

В свою очередь и она свои маленькие ладошки поднимала ему на плечи и, пройдясь по ним каждым пальчиком, говорила любя:

– Никому не отдам. Ты – мой...

Андрей учился в десятом. Она – в девятом. Всѐ это лето она как бы перерождалась. А до этого что? Была подрастающей, незаметной. И вот обозначилась той, какой её порода и назначала. Чувствовала каждой клеточкой тела, что не только её одноклассники, а, пожалуй, и все кавалеры города ловили её глазами, дабы понравиться ей, настолько была она зазывающей и прелестной. К тому же она очаровывала своими зелёными, что-то скрывающими глазами, в которых пряталось нечто такое, что достижимо бывает только в мечте.

Вечер. Зыбкие тени от тополей. Где-то рядом река. Как всегда, они были на берегу.

– Ты куда от меня не уедешь! – сказала она.

– Почему? – Он не понял и даже чуть испугался, учуяв в её мягком голосе женский напор, словно она ему что-то вдруг запрещала.

– Потому, что там будет другая. Не такая, как я, и ты меня бросишь.

Андрей снисходительно улыбнулся.

– Даже если и так, всё равно ты её будешь лучше.

Они обнялись, и он услышал её ладошки, лежавшие на обоих его плечах. Казалось, они ему и сказали:

– Буду ждать каждый день!

Они расстались на берегу. На пристань они не пошли специально. Наташа могла бы при всех рыдаться, и ему от этого стало бы неприлично.

Шѐл пароход по вечерней реке. Все пассажиры на палубе. И Андрей среди них. И тут он услышал голос её:

– Андрюша-а!

Она стояла на берегу, под текучей листвой берёзы. От платья, панамы на голове, туфелек с ремешками – вся белая-белая, как невеста. Махала ему сначала панамой, но та от порыва ветра вырвалась из руки и полетела следом за пароходом, вызывая в толпе пассажиров дружный восторг.

Андрей смутился. Все, кто на палубе был, переводили глаза с неё на него и умилялись, завидуя им. И тут он услышал всплеск многих рук, с каким пассажиры весело отправляли Наташе свой солидарный порыв. За что? За самое молодое. За то, что она сбросила туфельки с ног и стала ими махать, посылая всему пароходу своё горячее «До свиданья-я!».

Андрей чуть померк. Полагал, что Наташу он больше уже не увидит. Как ни странно, однако стало ему в последние дни с ней немного однообразно. Неужели она ему надоела? Он и сам был этому удивлён. Ещё неделю назад испытывал к ней влечение. И вдруг как-то сразу и поскучнел. И стала казаться ему она слишком, слишком простой, слишком, слишком провинциальной. Он считал себя выше её. Разумеется, и умнее. И в эти минуты, пока её видел с палубы парохода, он был расстроен и напряжён. В то же время внутренне рад. Впереди ожидала его свобода.

Разлуки не было для него. Уплыл, принимая всем своим существом длинный ряд новых дней. Хотя нового в них и не было ничего. Всё банально, обыкновенно. Общежития. То одно, то другое. Служба в армии. Институт. Работа на производстве. Девушки. О, как много их было. Выбирал самую-самую среди них. С выбором обманулся. Узнал об этом, когда погрузился в семейную жизнь. Супруга с характером оказалась. Капризным и вздорным. Пришлось разойтись. И вот он один – свободный, скептический, перспективный. На ум приходило то, что он ещё мóлодец хоть куда. Тридцать девять неполных лет. Так что есть у него и запас, тот, что можно пустить ещё на одну семейную жизнь, где будут и дом, и жена, и будущее, и дети. В думах вспомнилась и Наташа. Вспомнилась сладко, ласково и легко, и он ощутил её пальчики, как лежали они у него на плечах. Казалось, и не Наташа, а сами пальчики спрашивали его:

– Ты помнишь? Помнишь, как ты меня целовал?

Десять пальчиков. Столько же и вопросов. А сколько ответов? Ни одного.

И вот он, тусклый и одинокий, опоздавший к той самой пристани, без которой и человек – да не человек. Оставалось в душе, однако, упрямство. Оно Андрею и подсказало: потеряно, да не всё.

В конце концов, появилась идея – вернуться туда, где прошла его юность. Кто его встретит? Некому встретить. Мать с отцом он ещё в юные годы похоронил. Дом перешёл к дальним родственникам, кого он не знал даже, как и зовут. Но дом – это дело седьмое. В крайнем случае можно его и купить. И ввести в дом хозяйкой кого? Почему б не её, Наташу, вновь вернувшуюся к нему?

Решил послать срочную телеграмму. Пусть придёт, опять же на тропку под тополями, где когда-то они проводили свои вечера.

Потерял Андрей чувство меры и времени. Да и такт потерял. Не надо бы было ему телеграмму. Кто знает, как сейчас обстоят у Наташи дела. Может быть, она замужем. Семья у неё. А он туда как незванный варяг?

Телеграмму отправил он в тот же день, когда сел в пассажирский автобус.

И вот он, старенький городок. Нет, не старенький. Андрей не сразу его и узнал. Среди ветхих домов там и сям стоят, как на выданье, молодые многоэтажки.

Куда Андрею идти? Пошёл туда, где высокие тополя.

Однако не было тополей. Вместо них – огромные свежие пни. Кое-где на них – доски. Садись, отдыхай. Что и сделал Андрей.

Взгляд налево. Потом – и направо. Глаза мелко засуетились. Отчего они так? Словно кого-то он обманул и сейчас предстоит отвечать.

Вон какая-то девушка, стройная, быстрая, в белом, с дамской сумочкой на плече. Приподнялся Андрей. Хотел встать, но опять уселся, от волнения ощутив, как всё его тело отяжелело. Неужели она? Наташа? Какой была, такой и осталась. Нисколько не изменилась. Вот она подошла. В двух шагах от него. И нежным, однако насмешливым голосочком, как своему знакомому, кто причинил ей что-то плохое, иронически изрекла:

– Пришли?

Андрей снова попробовал встать. Но снова отяжелело.

– Наташа? – сказал он испуганно.

Девушка усмехнулась.

– Вспомнили маму?

Прошибло Андрея сверху донизу, так что ноги его ожгло, и он переставил их рядом, на новое место.

– Я и не знал.

– Что – не знал?

– Ничего.

Похожая на Наташу красавица заговорила так, как если бы совершил Андрей тяжкое преступление и надо за это его наказать:

- Вы её бросили.
- Так уж вышло, – буркнул Андрей.

Девушка чётко растолковала то, чего мог Андрей и не знать:

– Она ведь в школе училась. И снова хотела туда. Хотела учиться в десятом. И вот – никуда. Беременная. А беременных в школу кто пустит? Исключили её за аморальное поведение. Одна она и воспитывала меня. Думала, вы приедете к ней. А у вас там своя, видно, жизнь...

Изумился Андрей:

- Она чего? И замуж не выходила?
- Вас ждала! – в глазах у девушки раздражение.
- Но я, – продолжил, было, Андрей.
- Не надо. Лучше не объяснять. Понятно и так.
- Может, можно ещё... – добавил Андрей.
- Напрасно приехали. Мама не пустит. Зачем ей такой? – Это был уже грубый вызов, с каким девушка отвернулась от собственного отца. От него же и маму отгородила, дав понять, что не нужен он здесь никому.

– Дочка, – чуть слышно сказал Андрей, – как хоть звать-то тебя?

Но дочка уже уходила. Заметила возле школы высокого юношу, в светлом. К нему и пошла.

Андрей побито вздохнул и остался сидеть, глядя, как среди летних кустов, в свете поздней зари шли, обнявшись друг с другом, дочка его со своим женихом. Оба могли бы быть и родней. Могли бы, однако не будут уже. Шли, пожалуй, туда, где ждала их сейчас Наташа. Ну, а он оставался на берегу. Станет думать: куда ему? И зачем?

Сидел, весь какой-то истратившийся, пустой. «Поплыву», – сказал самому себе, разглядев под берегом стаю пасшихся на воде лёгких лодок. Спустился к реке. Подошёл к шалашу. Увидел сторожа.

– Покупаю корабль...

Отдал сторожу деньги. Уселся в одну из долблёнок. Подождал, пока сторож его выводил на речную струю. Бухнул вёслами и поплыл. Сначала к купающейся вехе. После – к бакену. Ну, а там и к небесному ходоку, опускавшему вдоль реки серебрящуюся дорожку.

«Ну, куда я? – спросил у себя. Сам же себе и ответил: – А не всё ли равно. Главное, всё на родной стороне, как было, так и оставить. Хватит с меня и одной Наташи. Упустил её. И себя упустил...»

Андрей поднял голову, прислушиваясь к чему-то. Но было вокруг тихо-тихо. Лишь капля за каплей падала с вёсел вода.

Целую ночь просидел он за вёслами. То плыл, то не плыл. Иногда поднимал вверх глаза.

Там, вверху, – глубокое звёздное небо да очищающая луна. Тогда как хотелось грозы и темнеющих туч, в глубинах которых кто-то кого-то подстерегает.

– О, небо, небо, – молвил Андрей, – ну, почему ты такое беззлобное? Почему не меня ты подстерегаешь?..

Рано утром он был на автобусной остановке. Купил билет и поехал туда, откуда хотел убежать. Сидел и слышал, как на плечах его пальчики шевелились. Он узнал их по шёпоту, с каким они спрашивали его:

- Ты помнишь? Помнишь, как ты меня целовал?
- Десять пальчиков. Десять раз и спросили его об этом...

ЗВЕЗДА ЛЮБВИ

Колчак Александр Васильевич – это не только географ, не только морской адмирал, не только исследователь русского Заполярья, не только поэт, но и командующий войсками, кто пытался спасти Россию от большевизма. Какой ценой он её спасал? Ценой эшелона российского золота, которое он захватил в Перми у Советского казначейства. Ценой того, что стал агентом нескольких государств, включая Англию, США и Японию. Ценой жестокости, с какой казнил не только красноармейцев, но и мирное население Сибири, отказавшееся признать его правителем государства. В конце концов, победителем этой страшной трагедии стал не он, а Владимир Ленин.

Потому и Иркутск с угрюмой тюрьмой. И дорога по льду через стылую Ангару к глубокой, но маленькой Ушаковке с дымящейся прорубью, из которой местные женщины черпают воду для самоваров. И ещё хруст шагов по февральскому снегу семерых бойцов-исполнителей, сопровождавших его к невыкопанной могиле, которую им предстояло самим и копать.

Ночь. Утро наступит ещё не скоро. Начальник тюрьмы, он же ответственное лицо за исполнение приговора, останавливает бойцов. Негромко, не по-военному, даже как-то сонно повелевает:

– Давайте. Здесь и покончим.

Красноармейцы скидывают стволы. Начальник тюрьмы, как бы щадя обречённого, приказывает бойцам:

– Повязку ему на глаза!

Но Колчак отказывается:

– Не надо.

В эту последнюю из минут своего поединка со смертью хотел бы Колчак попрощаться с той, кого любил пуще жизни. Но до неё было так далеко. Как до звезды, которую он однажды воспел.

Ночь морозная, светлая. В чёрном небе тысячи звёзд. Все незаметные. Лишь одна, в середине Большой Медведицы, отличима от незаметных и сурово, как избранная, сияет.

Александр Васильевич шевельнул губами. Может быть, он наполнился даже музыкой и от отчаяния запел. Запел не голосом, а каким-то высоким, взывавшим в нём повелительным кликом:

...Сойдёт ли ночь на землю ясная,
Звёзд много блещет в небесах,
Но ты одна, моя прекрасная,
Горишь в отрадных мне лучах...

Сколько он написал красивейших песен! И только эта стала сейчас самой главной, самой необходимой, отвечавшей его разбитому настроению, в котором Колчак учуял родственную стихию, разглядев в ней метнувшегося орла. Орёл не летел. А срывался с огромнейшей высоты, откуда видна была вся Россия, подхватив по пути и его, честолюбивого адмирала. И в этот момент Александр Васильевич разобрал:

– По врагам революции – пли!

Умер Колчак не сразу. Будучи с пулями около сердца, он упал, пожелав прижаться к земле, как к утешительнице своей.

Но земли под ним не было. Лишь затоптанный снег. Снег внизу, а вверху раздражительный голос:

– Закапывать – много чести. Туда его...

Последнего выстрела, каким добивал из личного пистолета начальник тюрьмы, Александр Васильевич не услышал. Оглушило нечто громадное, страшное и чужое, словно свалилась вдруг на него вся страна, со всем её населением, с товарищем Лениным, с отрядами красных бойцов, со всеми её лесами, полями и городами.

Взвод исполнителей, погрузив застреленного на сани, повёз его не на кладбище, где была так и не выкопана могила. А на снежную Ушаковку, прорубь которой дышала холодным паром и приняла адмирала как опытного пловца, кто сам подо льдом проложил себе дорогу до Ангары, чтобы оттуда – опять подо льдом – к Ледовитому океану, туда, где его никто не найдёт.

7 февраля 1920 года. Состав с золотым запасом страны, который забрали предавшие всех и всё чехословаки у Колчака, ещё стоял на резервном пути. Куда он пойдёт? И придёт ли по назначению? Об этом в тот день не знал даже сам Всевышний, чьи глаза были заполнены тяжкой думой, объявляющей всей Вселенной о беспомощности своей.

ЧЕМ МОГУ – ПОМОГУ...

Снится бабушке Лиде далёкое прошлое, когда была она молодой и жила в своём домике вместе с сыном. Муж на войне. А здесь, в смоленской маленькой деревеньке, тише, чем тихо, как на погосте, пока с шоссейной дороги не повернули три танка. Один из них напрямую проехал по огороду. А потом по сараю и сеновалу и даже по домику над оврагом, развалив его на два взлома.

Вовка, которому и всего-то пять лет, еле выкарабкался из дома. Обе ножки раздавлены. Должен бы умереть. А он ползёт и ползёт, цепляясь пальчиками за землю. Ползёт куда-то к колодцу. Где-то там его мама.

Лидия в ужасе. Сбрасывает с плеча коромысло. Вёдра катятся по дороге.

Жизнь у малого, как на ниточке. Ещё секунда – и оборвётся. Однако он терпит. Сквозь скрежет зубиков:

– Плохо мне, мама. Плохо...

Лидия падает на колени. Не знает, что ей и делать. Бедный мальчик всем своим личиком – ей навстречу. Так и хочет в неё проникнуть, дабы там, в своей мамочке, и остаться.

– Ножки-то у меня, – жалуется сквозь трепет, каким охватила его невозможная боль, – были, и нет. Новые надо. На этих мне уже и не встать.

Мать гладит малого по головке. Вскидывает лицо куда-то к серому небу. С горем в голосе:

– Боженька дорогой! Забери мои ножки! Я чего? Хватит – и походила. Переставь их сыночку моему...

Небо завалено облаками. Нет же там никого. Однако Лидия слышит:

– Чем могу, помогу...

Спас Господь молодую женщину. Не позволил ей умереть от великого горя. Ну а Вовке её был бессилён помочь. Был бессилён помочь и мужу, не вернувшемуся с войны.

Оттого и горюет Лидия Васильевна, не умея привыкнуть к своим потерям. В то крошечное лето было ей двадцать два. А теперь уже девяносто. Бабка древняя. И жить-то бы ей уже ни к чему. А она живёт и живёт.

Чем жила? Чем держалась? Колхозной работой. Да ещё сокровенной думой о сыне. То и тешит бабушку Лиду, что сынок у неё, хоть и мёртвый, но где-то с ней рядом. Колхоз давно предлагал переехать во вновь построенный дом, который ей, как лучшей колхознице, выделен был в перспективном селе. Но она отказалась. Жила, как птица, в родимом гнезде, собрав его из останков, какие оставил после себя страшный танк. Дабы быть возле мальчика постоянно.

Вот и сегодня Васильевна выбралась за деревню. Идёт себе через поле, где когда-то росла богатая рожь. А теперь здесь рогозая трава, ивняки и заплывшие норы, в которых скрываются долгохвостки.

Кладбище рядом. Вон подкрашенная оградка с двумя рябинками, под которыми и лежит у Васильевны сын. С 41-го года он здесь.

Возле холмика с сыном – распахнутая могила – свежая, чистая, с гладко вытесанным крестом. Подготовил её местный копарь. Старушка смаргивает слезу. «Вот и постелька моя. Рядом с Вовкой».

– До завтра, сыночек, – старушка кланяется рябинкам.

На душе у неё жертвенно, чисто и благородно. Она заранее знает предел, за которым маячит безжизненное пространство, куда живущим не было, нет и не будет дороги. Она и силы свои рассчитала, которых хватит, чтоб потихоньку дойти до дома. А там всё и так подготовлено в путь-дорогу, благо сама же себя в эту дорогу и собрала.

Гроб лежит на двух лавках, напоминая Васильевне плоскодонку, в которой она со своим Иваном когда-то плавала по заливу, собирая в нём радостные купавы, чтоб сплести белоцветный венок.

Переодевшись, Васильевна положила на стол кучку денег. Для тех, кто пойдёт её провожать. Достала свечу. Сняла с божницы икону. Помолилась и улеглась, устраиваясь в гробу.

Ночь на дворе. Небо чёрное, с усиками от звёзд, как ковёр, который кто-то раскинул над строгим миром. Замерла Васильевна, почувствовав вдруг необычную радость, словно кто-то поднял её и понёс сквозь небесную бесконечность.

Умерла, как заснула, и сама не заметив, что уже находится в новом мире. Умерла, как под мягкой ладонью, по которой узнала любимого мужа. От ладони пахло осенней травой. В траву её муж в тот далёкий день 41-го и упал, когда выстрелили в него и он не успел увернуться от пули.